
Тридцать писем на ноябрь

Милана Панова
Тридцать писем на ноябрь

https://litres.ru/74721583
SelfPub; 2026

Аннотация

Ульяна Морозова в тридцать два потеряла всё сразу: мужа, карьеру финансового аналитика и веру в людей. Единственное, что осталось, — дом бабушки в маленьком городе на Волге, и она хочет продать его до Нового года.

Но бабушка оставила вторую половину дома Матвею Ракитину, печнику, которого Ульяна двадцать лет считает виновником семейной ссоры. И он подпишет продажу только при одном условии: прожить под одной крышей весь ноябрь.

А ещё Ульяна находит тридцать писем — по одному на каждый день ноября. Каждое письмо даёт задание и открывает правду, которую от неё скрывали. Растопить печь. Испечь рыбник. Поклеить обои. Найти на чердаке то, что лучше было бы не находить.

К концу месяца ей придётся решить: продать дом или остаться.

Тёплая история о доме, прощении и о том, что тепло иногда копится годами, прежде чем его почувствуешь.

Содержание

1 ноября. Порог 5
2 ноября. Тяга 15
3 ноября. Рыбник 23
4 ноября. Автостанция 31
5 ноября. Правила 39
6 ноября. Папка «Дом» 48
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Милана Панова

Тридцать писем на ноябрь

Тридцать писем на ноябрь

Роман

1 ноября. Порог

Автобус из Ярославля пришёл в Калиновск с опозданием на сорок минут и высадил Ульяну у закрытого ларька «Пресса», на котором кто-то давно и старательно процарапал слово «люблю». Кого именно любили, ларёк не уточнял.

Шёл не дождь и не снег, а то, что бывает между ними в первых числах ноября: мокрая крупа, которая липнет к ресницам и тает за воротником. Ульяна подняла чемодан на бордюр, потому что колёсики сразу увязли в каше, и огляделась. Площадь была та же. Универмаг с выцветшей вывеской, памятник неизвестно кому в шапке из голубиного помёта, аптека, банк, а дальше, за крышами, — тёмная полоса, над которой не горело ни одного огня. Волга.

Двадцать лет назад эта площадь казалась ей огромной. Теперь её можно было пересечь за минуту, если не жалеть ботинок.

Ботинок было жалко. Они стоили как половина её последней зарплаты и были куплены в другой жизни, где не приходилось ходить пешком по мокрой крупе. Ульяна вздохнула и пошла.

План был простой, и она повторяла его про себя всю дорогу, как таблицу умножения. Неделя на то, чтобы разобрать вещи и сфотографировать дом. Риелтор из Ярославля обещал покупателя к декабрю. Подпись второго наследника —

формальность. Деньги — на первый взнос за однушку где-нибудь подальше от бывшего мужа, бывших коллег и бывшей себя. Новый год она встретит в собственной квартире, пусть даже с одним матрасом на полу. Матрас, по крайней мере, никогда не спрашивал, зачем она испортила себе жизнь.

Улица Береговая начиналась сразу за банком и шла вниз, к реке, длинная и кривая, как недописанное предложение. Фонари горели через один. Ульяна считала дома и сбилась на седьмом, потому что на месте восьмого теперь стоял забор из профнастила с наклейкой «Охраняется». Девятый тоже был за забором. И десятый.

Бабушкин дом был четырнадцатым. Он стоял последним перед спуском к пристани, и Ульяна узнала его ещё издалека — по наличникам. Резные, с деревянными птицами по углам, они белели в темноте, будто дом приподнял брови и с удивлением на неё смотрел.

— Я тоже не думала, что приеду, — сказала она дому вслух и тут же огляделась, не слышал ли кто.

Не слышал никто. В окне кухни горел свет.

Ульяна остановилась у калитки. Ключ лежал у неё в кармане, присланный нотариусом в пластиковом пакетике с биркой, и он был от этой калитки, от этой двери, от этого дома, где сейчас никого не должно было быть.

Свет горел. За занавеской двигалась тень.

Первой мыслью было: воры. Второй — бомжи. Третьей, самой трезвой: надо позвонить в полицию. Ульяна достала

телефон, увидела одну полоску связи и восемь процентов заряда и решила, что полиция подождёт. Она толкнула калитку, прошла по дорожке, на которой хлюпнуло что-то в темноте, и дёрнула дверь.

Дверь оказалась не заперта.

В сенях пахло холодом и известью. В кухне — тоже холодом, но ещё и кирпичной пылью, и чем-то горелым, и почему-то хвоей. Посреди кухни, на месте, где Ульяна помнила большую белую печь с лежанкой, высилась груда кирпичей, а над грудой, спиной к двери, стоял мужчина в рабочей куртке и стучал по кирпичу молотком.

— Вы кто такой? — спросила Ульяна тем голосом, которым когда-то разговаривала с подрядчиками, сорвавшими сроки.

Мужчина обернулся не сразу. Сначала он докончил удар, отложил молоток на табуретку, отряхнул ладони о штаны и только потом посмотрел на неё. Лицо у него было из тех, которые трудно запомнить с первого раза, зато со второго уже не забудешь: широкие скулы, нос с горбинкой, светлые глаза под тяжёлыми бровями, щетина. На лбу белела полоса кирпичной пыли.

— Ракитин, — сказал он. — Матвей. А вы Ульяна.

Он не спрашивал. Он сообщал.

— Ракитин, — повторила Ульяна, и в груди у неё что-то неприятно провернулось, как ключ в чужом замке. — Тот самый.

— Видимо, тот.

— Вы что делаете с печкой?

— Перекладываю.

— Кто вам разрешил?

Он чуть наклонил голову, как будто вопрос был задан на иностранном языке и он ждал перевода.

— Это наполовину мой дом.

— Наполовину, — сказала Ульяна. — Вот именно. А вторая половина моя. И моя половина не давала согласия на то, чтобы в ней разбирали печку.

— Печка не делится пополам.

— Зато дом делится, и я его продаю.

— Знаю.

— Тогда зачем вы его ломаете?

— Я его чиню, — сказал Матвей и взял с табуретки молоток, явно считая разговор оконченным.

Ульяна поставила чемодан посреди кухни. Чемодан был розовый, она купила его когда-то для свадебного путешествия на Мальдивы, и сейчас он выглядел здесь так же уместно, как фламинго в курятнике.

— Послушайте, — начала она, — я понимаю, что вы, видимо, привыкли тут хозяйничать. Бабушка вас пригрела, вы тут жили, вы, может быть, даже считаете, что имеете на этот дом какое-то моральное право. Но юридически…

— Я не жил, — перебил он. — Я приходил.

— Неважно.

— Важно. — Он снова положил молоток. — Вы хотите продать дом. Я подпишу. В одном случае.

— Каком?

— Если вы проживёте в нём до тридцатого ноября.

Ульяна рассмеялась. Смех вышел короткий и злой, и от него в холодной кухне поднялся пар.

— Это шутка?

— Это просьба Антонины Павловны.

— Бабушка умерла.

— Я в курсе. Я её хоронил.

Он сказал это без нажима, но Ульяна почувствовала, как кровь бросилась в лицо. На похоронах её не было. Мать позвонила через четыре дня после того, как всё случилось, и сказала ровным голосом: «Тоня умерла, похоронили в субботу, тебе не надо было ехать, ты бы всё равно не успела». Ульяна тогда лежала на диване в съёмной квартире с выключенным телефоном и третьи сутки не открывала шторы. Она бы, может, и успела. Если бы знала.

— Это незаконно, — сказала она, потому что больше ей сказать было нечего. — Нельзя поставить условие на продажу доли.

— Можно не продавать мою.

— Вы шантажист.

— Я печник.

Он произнёс это так, как произносят «я левша» — без гордости и без извинения, просто как факт, который всё объ-

ясняет.

— Мне всё равно, кто вы. Я не собираюсь жить месяц в доме без отопления с человеком, который…

Она не договорила. Матвей смотрел на неё спокойно и, кажется, ждал, чем закончится фраза. Ульяна вдруг поняла, что не знает, как её закончить вслух. «С человеком, который украл у бабушки деньги и из-за которого мама двадцать лет с ней не разговаривала» — это звучало как реплика из сериала на канале для домохозяек. Тем более что ей было двенадцать, когда всё случилось, и знала она эту историю только в маминой редакции, где слово «Ракитин» всегда произносилось сквозь зубы.

— С посторонним человеком, — закончила она.

— В вашей комнате тепло, — сказал Матвей. — Там голландка, я её топил с утра. Бельё в шкафу. Туалет во дворе, в доме пока не работает, трубы перемёрзли в позапрошлую зиму. Чайник на плитке. Я сплю в летней половине.

— Я не останусь.

— Автобус на Ярославль завтра в шесть сорок.

Он отвернулся к своим кирпичам. Ульяна постояла ещё немного, слушая, как под молотком отскакивает старый раствор, а потом взяла чемодан и пошла в комнату, где когда-то спала летом.

Голландка, круглая, в чёрном железном кожухе, действительно была тёплой. Ульяна прижала к ней ладони и закрыла глаза. Она так замёрзла за этот день — в поезде, в автобусе,

на площади, на кухне под взглядом этого Ракитина, — что от тепла у неё защипало в носу. Не хватало ещё расплакаться. Она открыла глаза и огляделась, чтобы отвлечься.

Комната уменьшилась. Кровать с никелированными шариками, на которые она в детстве надевала бабушкины напёрстки. Ковёр на стене с оленями, которых она пересчитывала перед сном и каждый раз получала разное число. Комод. Зеркало в деревянной раме. Под кроватью, как и двадцать лет назад, стоял сундук, обитый жестяными полосами.

Ульяна знала, что в сундуке. Там хранились её летние сандалии, панамка, альбом с наклейками, которые давали в жвачке «Love is», и коробка с ракушками из Волги. Бабушка ничего не выбрасывала. «Вещи — это память, которую можно потрогать», — говорила она.

Она вытащила сундук, просто чтобы проверить. Крышка поддалась со скрипом.

Сандалий не было. Альбома тоже. В сундуке, на сложенном шерстяном платке, стояла жестяная коробка из-под монпансье, большая, синяя, с полустёртыми снежинками на крышке. На крышке лежала бумажка, и на бумажке бабушкиным почерком, крупным, с наклоном и характерной петлёй у буквы «д», было написано:

«Уле. Открывать по одному в день, с первого ноября. Не жульничай — я узнаю».

Ульяна села на пол.

Она открыла коробку. Внутри стояли конверты, обычные

почтовые, с марками, на которых никто не писал адреса. Только числа в правом верхнем углу: 1, 2, 3… Она пересчитала. Двадцать девять. Тридцатого не было. На дне коробки лежала ещё одна записка, совсем маленькая: «Тридцатое — у того, кому ты сейчас не веришь».

— Прекрасно, — сказала Ульяна в пустоту. — Ну просто прекрасно.

Она вытащила конверт с единицей. Он был не заклеен, только заправлен. Внутри был тетрадный лист в клеточку, исписанный с двух сторон.

Улюшка, здравствуй.

Если ты это читаешь, значит, ты всё-таки приехала, а я всё-таки не дождалась. Не реви. Я прожила восемьдесят один год, из них лет семьдесят была вполне довольна, это хороший процент, ты как финансист должна оценить.

Я знаю, что ты приехала продавать. Не спорь, я тебя знаю. Ты в маму: если болит, надо отрезать и не смотреть. Продавай, раз решила. Я только прошу месяц. Один ноябрь. Я написала тебе письма, по одному на день. В некоторых будут задания, ты уж не сердись, я старая, мне можно командовать.

Матвей тебе, наверное, уже сказал про условие. Это я его заставила. Он не хотел. Он вообще ничего у меня не хотел брать, ни дом, ни полдома, пришлось ругаться. Так что если злишься — злись на меня, мне теперь всё равно, а ему нет.

И ещё. Ты мне летом звонила. Ты не помнишь, наверное,

ты была немножко пьяная и плакала. Ты сказала, что не подписала какую-то бумагу и тебя за это выгнали. Я тебе тогда ничего толком не сказала, растерялась. Скажу сейчас: ты правильно сделала. Я тобой горжусь. Вот. Больше я тебе этого не напишу, чтобы не зазналась.

Задание на сегодня простое. Ложись спать в своей комнате. Голландку Матвей натопит. Утром посмотри в окно на реку. Остальное потом.

Твоя бабушка Тоня.

Ульяна дочитала, перевернула листок, хотя знала, что больше там ничего нет, и снова перевернула.

Она не помнила этот звонок. То есть помнила июльский вечер, бутылку вина, выпитую в одиночку на подоконнике, и то, как листала контакты в телефоне, ища хоть кого-то, кто не скажет «ты сошла с ума». Мать бы сказала. Денис уже сказал, перед тем как собрать вещи. Лера была в отпуске в Турции. И, кажется, где-то на букву «Б» был номер, который она не набирала лет пять.

Значит, набрала.

Она сложила письмо, сунула его обратно в конверт, а конверт — под подушку, как в детстве прятала конфеты. Потом разделась, не включая свет, забралась под тяжёлое ватное одеяло, которое пахло нафталином и чуть-чуть бабушкиными духами «Красная Москва», и уставилась в потолок.

За стеной стучал молоток. Мерно, неторопливо, с паузами. Потом перестал. Потом скрипнула дверь, и по полу про-

шли шаги — тяжёлые, но осторожные, будто человек старался не шуметь. Шаги остановились возле её двери. Ульяна задержала дыхание.

Дверца голландки тихо стукнула, и в печи зашуршали дрова.

Он подкладывал. Как будто так и надо.

Ульяна дождалась, пока шаги уйдут, и только тогда позволила себе заплакать — тихо, в подушку, сразу за всё. За бабушку, за похороны, на которые не поехала, за Дениса, за работу, за ботинки, за розовый чемодан. Плакала она недолго. Голландка гудела ровно и уютно, как большая кошка, и Ульяна уснула раньше, чем успела решить, на каком автобусе завтра уедет.

2 ноября. Тяга

Утром в окне была река.

Ульяна не сразу поняла, что видит. Сначала ей показалось, что за стеклом повесили серую простыню, а потом простыня шевельнулась, и сквозь туман проступила вода — широкая, тёмная, неподвижная, с белой кромкой льда у берега. Над водой медленно летела одинокая чайка. На том берегу чернел лес, а над лесом, низко, растекалось бледное солнце, похожее на яичный желток, который кто-то неосторожно проткнул вилкой.

Она простояла у окна минут пять, босиком, в свитере поверх пижамы, и только когда ноги свело от холода, сообразила, что голландка остыла.

Часы на телефоне показывали девять двадцать. Автобус в шесть сорок ушёл без неё.

— Ну и ладно, — сказала Ульяна вслух. — Есть ещё вечерний.

Вечернего, как выяснилось позже, не было: по понедельникам он не ходил, а сегодня, как назло, был понедельник. Но это она узнала потом.

На кухне никого не было. Кирпичи были сложены вдоль стены аккуратными стопками, как книги в библиотеке. На месте печи осталось основание и половина топки, похожей на беззубый рот. На столе, накрытом клеёнкой с вишнями,

стоял электрический чайник, банка растворимого кофе, сахарница и тарелка, накрытая другой тарелкой. Под верхней тарелкой обнаружились два бутерброда с сыром и записка на обрывке строительного чека: «Ушёл на заказ. Буду в 15. Дрова в сенях. М.».

Почерк у него был мелкий, почти печатный, буквы стояли отдельно друг от друга, как люди в очереди, которые не желают знакомиться.

Ульяна съела оба бутерброда — злилась, но съела, — выпила кофе и пошла смотреть дом при свете.

Дом был старый. Это она понимала и раньше, но теперь видела, насколько. Половицы в коридоре прогибались. В углу горницы на обоях расплылось рыжее пятно. Рама в окне на веранде треснула, и трещину заклеили скотчем. В летней половине, куда она заглянула одним глазом, стояла раскладушка, аккуратно застеленная серым солдатским одеялом, на гвозде висела фланелевая рубашка, а на подоконнике лежала стопка книг. Ульяна наклонила голову, чтобы прочесть корешки: Паустовский, справочник по каменной кладке, «Сто лет одиночества» и детектив Агаты Кристи с оторванной обложкой.

— Странный набор, — пробормотала она и вышла, пока не начала рыться в чужих вещах.

К полудню дом выстыл окончательно. Изо рта шёл пар. Ульяна сидела в куртке на кровати, с телефоном на зарядке, и пыталась написать риелтору, но пальцы не слушались. То-

гда она вспомнила про второе письмо.

Конверт с двойкой был толще первого. Внутри оказался не только листок, но и маленькая, в ладонь, картонка с нарисованной от руки схемой: прямоугольник, внутри стрелки и подписи.

Улюшка.

Утро прошло, ты замёрзла. Я знаю, потому что голландка держит тепло часов десять, не больше, а Матвей, если ушёл на заказ, раньше трёх не вернётся. Он по понедельникам всегда уходит на заказ, у него там бабка в Песочном, он ей задаром печь чистит.

Задание: растопи сама. Не жди его. Я тебе нарисовала, как. Главное — тяга. Без тяги печь — просто кирпичи, так дед твой говорил, а Матвей у него это слово перенял и теперь повторяет, только он думает, что сам придумал.

Открой вьюшку. Это задвижка в трубе, она наверху, такая круглая крышечка на цепочке. Если не откроешь, угоришь, а мне тебя ещё жалко.

Положи бумагу, на неё лучину, на лучину два полена шалашиком. Поджигай снизу. Дверцу не закрывай сразу, пусть разгорится. Если пойдёт дым в комнату, значит, труба холодная, поднеси к поддувалу горящую газету, прогрей.

Ничего сложного. Ты умная девочка, у тебя высшее образование, справишься с печкой.

Бабушка.

Ульяна посмотрела на схему, потом на голландку, потом

снова на схему.

— Высшее образование, — сказала она. — Экономическое. С красным дипломом. Двенадцать лет в финансовом анализе. Ну, давай, Морозова.

Через полчаса её высшее образование лежало в руинах вместе с тремя коробками спичек. Дрова в сенях оказались сырыми. Бумаги в доме не было, кроме газеты «Калиновский вестник» за август, которую Ульяна извела целиком. Лучину надо было колоть, а топорик, найденный в сенях, весил, по её ощущениям, килограммов пятнадцать и норовил отрубить ей пальцы. Один раз огонь всё-таки занялся, весело затрещал, и Ульяна, торжествуя, захлопнула дверцу. Через минуту из всех щелей пошёл густой белый дым.

Она распахнула окно, закашлялась, выбежала в сени, вернулась, снова открыла дверцу и поняла, что забыла про вьюшку.

Вьюшка нашлась наверху, под самым потолком, круглая чугунная заслонка с кольцом. Чтобы до неё дотянуться, пришлось встать на табуретку. Табуретка качнулась. Ульяна ухватилась за трубу, труба оказалась горячей, она вскрикнула и полетела вниз, в объятия кого-то, кто стоял в дверях и, судя по всему, стоял там уже некоторое время.

Матвей поймал её неловко, под мышки, как ловят ребёнка, который прыгает с забора. Поставил на пол. Не отпустил сразу.

— Обожглась?

— Нет, — соврала Ульяна и сунула пальцы в рот.

— Покажи.

— Не покажу.

Он вздохнул, взял её за запястье и повернул ладонь к свету. На двух пальцах вздувались красные полоски.

— Снег, — сказал он.

— Что?

— Приложи снег. На крыльце.

Он отпустил её руку, встал на табуретку — табуретка под ним даже не шелохнулась, будто знала, кого можно ронять, а кого не стоит, — и открыл вьюшку одним движением. Дым сразу потянулся вверх, в трубу, как вода в слив. Матвей слез, присел к дверце, поворошил кочергой обугленные головешки, вытащил из кармана куртки пакет с берёзовой корой и сухими щепками — откуда он только взялся, этот пакет, — и через две минуты в голландке гудело ровное оранжевое пламя.

Ульяна стояла у окна, прижав к пальцам ком мокрого снега, и смотрела на это с чувством, которое в детстве называла «обидно до слёз».

— Дрова сырые, — сказала она в своё оправдание.

— Те, что у двери, сырые. Сухие под навесом, за баней.

— Вы могли написать.

— Я не думал, что ты будешь топить.

Ульяна отметила это «ты». Вчера он, кажется, не обращался к ней вовсе — ни на «ты», ни на «вы». А сегодня пе-

решёл, легко и без спроса, будто так и было с самого начала. Она хотела возмутиться, но сообразила, что вчера сама назвала его шантажистом, а это, пожалуй, тоже не по протоколу.

— Бабушка велела, — сказала она.

Матвей поднял голову. Что-то мелькнуло у него в лице — быстро, как рыба под водой.

— Письма, — сказал он. — Нашла.

— А вы знали?

— Знал, что пишет. Не знал, где спрятала.

— Тридцатое у вас?

Он промолчал. Это было похоже на «да», но Ульяна уже начала понимать, что у Матвея Ракитина молчание бывает разных сортов, и разбираться в них ей ещё предстояло.

— Отдайте.

— Тридцатого, — сказал он.

— Я могу уехать двадцать девятого.

— Можешь.

Он закрыл дверцу голландки, оставив щель, поднялся и отряхнул колени. Потом посмотрел на неё, на её мокрые от снега пальцы, на открытое окно, на газетный пепел по всему полу, и уголок рта у него дёрнулся. Совсем чуть-чуть.

— Что? — спросила Ульяна.

— Ничего. Окно закрой. Выстудишь.

Он ушёл на кухню. Ульяна закрыла окно, подмела пепел и села перед голландкой на низкую скамеечку, на которой

когда-то сидела бабушка, когда чистила картошку. Огонь гудел. В трубе что-то тихонько посвистывало, как закипающий чайник. Пальцы саднило.

«Тяга», — подумала она и, неизвестно почему, улыбнулась.

Вечером позвонил риелтор, Артём Игоревич, бодрый молодой человек, который говорил «по факту» через слово. Он сказал, что по факту рынок сейчас стоит, но под конкретный объект можно поискать, особенно если участок у реки. Он попросил фотографии. Ульяна пообещала прислать завтра и положила трубку.

Из кухни доносился звук, который она не сразу узнала: шуршание мастерка по кирпичу. Матвей работал при свете переноски, повешенной на гвоздь. Он не обернулся, когда она вошла, только сказал:

— Суп на плитке.

На плитке стояла кастрюлька с гороховым супом. Ульяна налила себе тарелку и села за стол. Суп был густой, с копчёными рёбрышками, с какой-то травой, и такой горячий, что пришлось дуть на каждую ложку.

— Вы сами варили?

— Нет. Зина.

— Какая Зина?

— Соседка. Зинаида Карловна. Из двенадцатого.

— Та, у которой была коза?

— Козы нет. Есть кот.

Ульяна вспомнила: высокая сухая женщина в мужской телогрейке, которая разговаривала с козой исключительно по имени-отчеству. Козу звали Матильда Андреевна. Ульяне было лет восемь, и она была уверена, что коза понимает каждое слово.

— Она ещё жива? — спросила Ульяна и тут же покраснела. — В смысле, Зинаида Карловна. Не коза.

— Жива, — сказал Матвей. — Обе.

Он всё-таки обернулся. На этот раз уголок рта не просто дёрнулся — он поднялся, и Ульяна, к своему удивлению, увидела, что у Ракитина, оказывается, есть улыбка. Кривая, на одну сторону, как будто вторая половина лица ещё не решила, стоит ли ей участвовать.

— Коза в другом смысле, — пояснил он. — Матильда Андреевна умерла. Кота зовут так же.

— Кота зовут Матильда Андреевна?

— Зина говорит, имя хорошее, жалко терять.

Ульяна фыркнула в суп. Матвей отвернулся к своим кирпичам. Больше они не разговаривали, но молчание было уже не такое, как вчера. Ульяна не смогла бы объяснить разницу, но она её чувствовала — так чувствуешь, что в комнате стало на градус теплее, ещё до того, как посмотришь на термометр.

3 ноября. Рыбник

Третье письмо было коротким и пахло ванилью. Ульяна сначала подумала, что ей кажется, а потом нашла на дне конверта засохший стручок, завёрнутый в вощёную бумагу.

Ваниль от Зины, настоящая, ей сын из Москвы привозит. Не нюхай её просто так, это расточительство.

На сегодня: найди мою тетрадь с рецептами. Она в буфете, на второй полке, за банкой с гречкой. Испеки рыбник. Рыбу возьмёшь у Кости на пристани, он тебя узнает, скажешь, что от меня. Тесто не бойся. Тесто чувствует страх и не поднимается.

Пирог отнеси на стол целиком, не режь, пока не сядете оба.

Оба, Уля. Я не оговорилась.

— Конечно, не оговорилась, — проворчала Ульяна, складывая письмо. — Ты в жизни ни разу не оговаривалась.

Тетрадь нашлась там, где обещано: за трёхлитровой банкой гречки, в которой, судя по виду, гречка лежала с прошлого века. Общая, в клеёнчатой обложке, разбухшая от вклеенных вырезок и вложенных листков. На первой странице было написано: «Морозова А. П. Рецепты. Чужим не давать». Слово «чужим» было подчёркнуто дважды.

Ульяна листала тетрадь и узнавала. Пирожки с капустой, которые бабушка пекла по субботам. Яблочный пирог

«Шарлотка по-калиновски», отличавшийся от обыкновенной шарлотки тем, что в него клали ложку коньяка. Солёные грузди. Рыбник. Напротив рыбника на полях была приписка карандашом: «Матвей любит с луком побольше».

Она захлопнула тетрадь.

До пристани было десять минут вниз по улице. Туман сошёл, день выдался ясный и стылый, с тонким ледком на лужах, который хрустел под ногами, как вафля. Пристань оказалась совсем не такой, какой Ульяна её помнила: дебаркадер увели на зимовку, причал стоял пустой, и только у края, под навесом из шифера, теплилась жизнь. Там стоял вагончик, а возле вагончика — мужик в оранжевой куртке и ватных штанах, курил и смотрел на реку так, будто она ему что-то должна.

— Здравствуйте, — сказала Ульяна. — Вы Костя?

Мужик вынул сигарету изо рта и оглядел её с головы до ног — розовую шапку, городское пальто, ботинки.

— Константин Сергеич, — поправил он. — А ты, значит, Тонина внучка. Улька.

— Как вы узнали?

— А нос, — сказал Костя и ткнул сигаретой куда-то в район её лица. — Нос у вас, Морозовых, один на всех. Тоня мне говорила, что придёшь. Ещё летом говорила. Я, говорит, Костя, если меня не будет, а Улька придёт за рыбой, ты ей дай судака. Не леща, говорит, а судака. Лещ костлявый, она в детстве подавилась.

Ульяна не помнила, чтобы давилась лещом. Но спорить не стала.

Судак был огромный, серебристый, с налётом инея на чешуе. Костя завернул его в газету, потом в пакет, потом ещё в один пакет и денег брать отказался наотрез.

— Тоня мне за сына двадцать лет назад тетрадку по математике написала, — сказал он. — Он институт закончил, в Самаре инженер теперь. А ты мне деньги суёшь. Иди уже, а то рыба оттает.

Ульяна шла обратно в гору с судаком под мышкой и думала о том, что за два дня в этом городе ей уже трижды отказали в праве заплатить. Матвей с бутербродами. Зинаида Карловна с супом. Теперь Костя. Как будто бабушка оставила ей в наследство не только полдома, но и какой-то невидимый кредит доверия, о котором Ульяна не просила и который не знала, как вернуть.

На кухне Матвея не было, но были следы его работы: основание печи выросло на два ряда кирпичей, и новый ряд был ровный, как по линейке. Ульяна положила судака на стол, раскрыла тетрадь на рыбнике и прочитала рецепт три раза, как читала когда-то годовые отчёты, выискивая подвох.

Подвох нашёлся в первой же строчке. «Опару поставь с вечера».

— С вечера, — сказала Ульяна. — Отлично.

Она полезла в интернет, нашла быстрое дрожжевое тесто, сверила пропорции, вздохнула, вымыла руки и принялась.

Через два часа кухня выглядела так, как будто в ней проводил испытания отряд саперов-кондитеров. Мука лежала на столе, на полу, на кирпичах и, судя по всему, у неё в волосах. Судак был разделан — точнее, разобран на части, о существовании которых Ульяна раньше не подозревала. Тесто стояло в миске под полотенцем на тёплом основании голландки и не поднималось. Ульяна заглядывала под полотенце каждые пять минут и каждый раз видела одну и ту же бледную, обиженную на весь мир лепёшку.

— Ты чувствуешь страх, — сказала она тесту. — Я понимаю. Я тоже его чувствую. Но давай договоримся как взрослые.

Тесто не договаривалось.

В половине пятого хлопнула дверь, и в кухню вошёл Матвей. Он остановился на пороге — точно так же, как она позавчера, — и оглядел разрушения. Потом посмотрел на неё.

— У тебя мука на брови, — сказал он.

— У меня тесто не поднимается.

Он снял куртку, повесил её на гвоздь, вымыл руки под рукомойником и подошёл к миске. Приподнял полотенце.

— Дрожжи какие?

— Быстрые. Из пакетика. Из магазина.

— Из какого?

— Из того, что у банка.

— У Светки, — кивнул Матвей. — Они там с весны лежат. Мёртвые.

— Дрожжи бывают мёртвые?

— Всё бывает мёртвым.

Он сказал это без всякого пафоса, но Ульяна вздрогнула. Матвей, кажется, этого не заметил. Он открыл буфет, пошарил на верхней полке и вытащил небольшой брусок, завёрнутый в пергамент.

— Живые, — сказал он. — Прессованные. Зина держит в холодильнике, мне дала на всякий случай.

— На какой случай?

— На такой.

Он раскрошил дрожжи в кружку с тёплым молоком, бросил ложку сахара, накрыл блюдцем и поставил на голландку. Через десять минут над кружкой поднялась пышная бежевая шапка, пахнущая пивом и хлебом.

— Вот, — сказал он. — Теперь тесто.

— Я сама, — сказала Ульяна.

— Сама, — согласился он и сел на табуретку у стены, сложив руки на груди.

Это было хуже, чем если бы он стал помогать. Ульяна месила тесто под его молчаливым взглядом и чувствовала себя студенткой на экзамене у профессора, который уже поставил ей двойку и теперь просто ждёт, когда она это поймёт. Тесто липло к пальцам. Она подсыпала муки. Тесто стало тугим. Она подлила молока. Тесто снова прилипло.

— Ладонями, — сказал Матвей.

— Что?

— Не пальцами. Ладонями. Основанием. Вот так.

Он не встал, а показал в воздухе: толкнул от себя невидимый ком, сложил, повернул, толкнул снова. Движение было простым и плавным, как будто он делал это тысячу раз.

— Вы ещё и пекарь?

— Кирпичный раствор так же месят.

— Чудесно. Значит, я пеку пирог по технологии кладки.

— Значит, получится.

Он сказал это так уверенно, что Ульяна на секунду поверила. Она толкнула тесто основанием ладони, сложила, повернула. Ещё раз. И ещё. Через пять минут тесто перестало липнуть, стало гладким и упругим, похожим на бархатную подушку. Ульяна отступила, тяжело дыша, и посмотрела на него с подозрением, будто тесто перешло на сторону врага.

— Пусть стоит час, — сказал Матвей. — Тепло. Под полотенцем. Не трогай.

— Я не собиралась трогать.

— Ты каждые пять минут его трогала.

— Откуда вы знаете?

Он кивнул на полотенце. На полотенце, в муке, отпечатались следы её пальцев — с десяток, не меньше.

Ульяна не нашлась что ответить.

Рыбник вышел кособоким. Один край подгорел, другой остался бледным, начинка вытекла через трещину на боку, и на противне образовалась маленькая лужица золотистого сока. Но пах он так, что у Ульяны закружилась голова: лу-

ком, рыбой, сливочным маслом, горячим хлебом. Бабушкиным домом.

Лука она положила побольше. Не потому что Матвей любит. Просто так было в рецепте.

Пирог она вынесла на стол целиком, как велело письмо. Матвей посмотрел на него, потом на неё.

— Режь, — сказал он.

— Бабушка написала: не резать, пока не сядем оба.

Он помолчал. Потом отодвинул табуретку и сел напротив.

Ульяна разрезала пирог, положила ему кусок побольше, себе поменьше. Они ели молча. Матвей съел свой кусок, потом второй, потом третий, и ни разу ничего не сказал — ни «вкусно», ни «спасибо», ни «пересолила». Только когда он потянулся за четвёртым, Ульяна не выдержала:

— Ну и как?

Матвей прожевал, вытер пальцы о полотенце и посмотрел на неё с такой серьёзностью, будто она спросила о смысле жизни.

— Как у неё, — сказал он.

И Ульяна, которая заготовила на любой его ответ какую-нибудь колкость, вдруг поняла, что колкости не будет. Что она сидит в бабушкиной кухне, напротив человека, которого двадцать лет считала вором, ест бабушкин рыбник и что в горле у неё стоит ком размером с этот самый пирог.

— Спасибо за дрожжи, — сказала она, когда смогла говорить.

— Зине спасибо.

— Зине скажу. А вам — за дрожжи.

Он кивнул. Встал, сложил тарелки в таз, вылил туда воды из чайника и стал мыть. Ульяна сидела и смотрела ему в спину. Плечи у него были широкие, а движения неторопливые и экономные, без единого лишнего жеста, как у человека, который привык работать руками и не тратить силы зря.

«Он вор, — напомнила она себе. — Он взял у бабушки деньги, предназначенные на твоё образование. Мама плакала. Папа кричал. Бабушка его защищала, и мама перестала ей звонить. Ты двадцать лет не ездила сюда летом из-за него».

Мысли были правильные и знакомые, как старые туфли. Только почему-то натирали.

4 ноября. Автостанция

Мать позвонила в восемь утра. Она всегда звонила в восемь — ни минутой раньше, ни минутой позже, как будто её звонки шли по расписанию электричек.

— Ты где? — спросила она вместо «здравствуй».

— В Калиновске, мам.

— Я знаю, что в Калиновске. Я спрашиваю, ты где. На вокзале? Уже едешь?

— Нет пока.

Пауза в трубке была такая, что Ульяна почти увидела, как мать поджимает губы. Ирина Викторовна Морозова, главный бухгалтер районной поликлиники в Подмосковье на пенсии, умела поджимать губы так, что это было слышно за триста километров.

— Уля. Ты же говорила — два дня. Сфотографировать, договориться с риелтором и обратно.

— Говорила.

— И?

— Там сложности, мам. С документами.

— Какие сложности? Наследство оформлено, доля твоя.

— Доля моя. Но вторая доля…

— Ракитина, — сказала мать, и это слово прозвучало так, словно его вымочили в уксусе. — Я знаю. Тоня совсем выжила из ума под конец. Отписать полдома этому…

— Мам.

— Что «мам»? Ты помнишь, что он сделал?

— Помню. — Ульяна помолчала. — То есть мне двенадцать было. Я помню, что ты рассказывала.

— А тебе мало того, что я рассказывала?

Ульяна не ответила. Она сидела на кровати, поджав ноги, и смотрела на голландку, в которой догорали угли, — Матвей опять натопил на ночь, она опять слышала шаги и опять сделала вид, что спит. В окне было пасмурно. Река сегодня спряталась.

— Он там? — спросила мать. — В доме?

— Да.

— Ты живёшь с ним в одном доме?

— Мам, мне тридцать два года.

— Вот именно, — сказала мать. — Тридцать два года. Ни мужа, ни работы, ни квартиры. И ты сидишь в Калиновске в одном доме с человеком, который обокрал твою бабушку. Уля, подпиши у него всё, что нужно, и приезжай. Хочешь — пожить у меня, я тебе комнату освобожу. Только не сиди там.

Ульяна закрыла глаза. «Ни мужа, ни работы, ни квартиры». Мать не хотела её обидеть. Мать вообще никогда не хотела никого обидеть — она просто говорила, как есть, и искренне не понимала, почему от этого больно.

— Я подумаю, — сказала Ульяна.

— Не надо думать. Надо ехать. Ты там раскиснешь. Тоня тоже всё думала, думала, а в итоге…

Мать не договорила. Ульяна так и не узнала, что случилось с бабушкой «в итоге» по маминой версии, потому что мать сказала «ладно, у меня давление» и отключилась.

Четвёртое письмо Ульяна читать не стала. Она достала его из коробки, сунула в карман пальто, не глядя, и начала собирать вещи. Розовый чемодан послушно разинул пасть. Свитера, джинсы, косметичка, зарядка. Тетрадь с рецептами она подержала в руках и положила обратно в буфет — «чужим не давать», а она, получается, чужая. Коробку с письмами оставила на комоде.

Матвей был во дворе — колол дрова. Ульяна слышала размеренный стук топора и треск поленьев. Она подождала, пока стук не стихнет, потом выкатила чемодан на крыльцо.

Матвей стоял у поленницы с топором в руке. Увидел чемодан, увидел её. Ничего не сказал.

— Я уезжаю, — сказала Ульяна.

— Понял.

— Ваше условие я выполнять не буду. Пусть дом стоит. Пусть сгниёт. Вы его, в конце концов, хотели — вот и живите.

— Я не хотел.

— Ну так продайте мне свою долю! Я выплачу. В рассрочку.

— Не продам.

— Почему?!

Он воткнул топор в колоду. Постоял, глядя куда-то мимо

неё, на реку, которой сегодня не было видно за туманом.

— Обещал, — сказал он.

— Мёртвым обещания не держат.

— Держат, — сказал Матвей. — Только им и держат.

Ульяна дёрнула ручку чемодана так, что колесо стукнуло о ступеньку.

— Знаете что, Матвей… как вас по отчеству?

— Степанович.

— Знаете что, Матвей Степанович. Мне надоело. Мне надоело, что все вокруг знают, как мне жить. Мама знает. Бабушка знала. Вы знаете. Риелтор знает, Костя на пристани знает. Даже тесто — и то знало лучше меня. Я уезжаю. Всего хорошего.

Она скатила чемодан по ступенькам и пошла к калитке. Он не окликнул. Ульяна была уверена, что не окликнет, но всё равно, выходя на улицу, замедлила шаг. Тишина. Только через минуту, когда она была уже у забора с наклейкой «Охраняется», за спиной снова застучал топор.

Автостанция в Калиновске помещалась в одноэтажном кирпичном здании с вывеской «АВТОВОКЗАЛ», в которой не хватало буквы «Л». Внутри было одно окошко кассы, три ряда пластиковых кресел, автомат с кофе, который давно не работал, и расписание на стене, напечатанное на принтере и приклеенное скотчем. Ульяна изучила расписание. Ближайший автобус на Ярославль — в четырнадцать двадцать. Ещё два часа.

Она купила билет у кассирши с фиолетовыми волосами, села в кресло и вытащила из кармана телефон. Связь была. Сообщений не было. Она пролистала ленту, ничего не увидела, убрала телефон и нащупала в кармане конверт.

Четвёрка. Бабушкин наклонный почерк.

«Ладно, — подумала Ульяна. — Прочитаю. Из вежливости. А то мёртвым обещания, видите ли, держат».

Уля.

Сегодня ты захочешь уехать. Не спрашивай, откуда я знаю, — я тебя знаю. Четвёртый день — самый плохой. На четвёртый день мама твоя позвонит, она всегда звонит, когда ей кажется, что что-то идёт не по её плану. И ты почувствуешь себя виноватой, а когда ты чувствуешь себя виноватой, ты убегаешь. Это у тебя с детства. Ты когда разбила мою вазу с васильками, три дня пряталась на чердаке и выходила только поесть.

Я не буду тебя удерживать. Я только скажу одну вещь. Ты думаешь, что знаешь, почему мы с твоей мамой перестали разговаривать. Ты думаешь, это из-за денег и из-за Матвея. Это не так. То есть деньги были и Матвей был, но не так, как тебе рассказали.

Я двадцать лет молчала, потому что обещала. Теперь меня нет, и обещание моё вроде бы кончилось, но я всё равно не могу вывалить тебе всё сразу. Ты не поверишь. Ты финансист, ты веришь только документам. Поэтому я дам тебе документы. Не сразу. По одному.

Хочешь знать правду — останься. Хочешь жить, как жила, — уезжай, я не обижусь. Мёртвые не обижаются, это одно из немногих наших преимуществ.

И если всё-таки поедешь — попрощайся с Матвеем по-человечески. Он этого не скажет, но ему будет плохо.

Бабушка.

P. S. Ваза была некрасивая. Мне её свекровь подарила. Я ей тогда сказала спасибо, а про себя — давно пора.

Ульяна дочитала. Перечитала. Сложила письмо вчетверо и положила на колено.

Кассирша с фиолетовыми волосами смотрела на неё из окошка.

— Девушка, вам плохо?

— Нет. — Ульяна вытерла щёку тыльной стороной ладони. — Мне нормально.

— А то у нас тут медпункт через дорогу.

— Спасибо. Не надо.

Она сидела ещё минут десять. Мимо прошла женщина с двумя сумками, из которых торчали куриные лапы. Прошёл мальчик с собакой на верёвке. Прошёл пьяный дед в тулупе и громко сообщил всем присутствующим, что Ельцин был хороший мужик. Ульяна сидела.

Вазу с васильками она действительно разбила. Ей было семь. Ваза стояла на подоконнике в горнице, и Ульяна, играя в мяч — в доме, хотя бабушка запрещала, — попала прямо в неё. Синие осколки разлетелись по всему полу. Ульяна три

дня пряталась на чердаке, а когда вышла, бабушка ничего ей не сказала. Ни слова. Просто налила чаю и положила варенья. Ульяна тогда решила, что бабушка не заметила. Потом решила, что бабушка злится молча. А теперь, через двадцать пять лет, узнала, что бабушка была рада.

«Ты не знаешь, — сказала она себе. — Ты много чего не знаешь».

Это было неприятное чувство. В её прежней работе незнание стоило денег. Чужих денег, очень больших. Она двенадцать лет училась вытаскивать на свет то, что люди прячут в сносках, приложениях и примечаниях мелким шрифтом. И ушла как раз потому, что отказалась делать вид, будто не видит спрятанного.

А тут, выходит, двадцать лет смотрела на собственную семью и видела только то, что ей показали.

В четырнадцать двадцать автобус на Ярославль подошёл к платформе. Ульяна смотрела в окно, как в него садятся женщина с куриными лапами и пьяный дед, как водитель закуривает и стряхивает пепел на асфальт. Как закрываются двери.

Автобус уехал.

Ульяна посидела ещё немного, потом встала, подошла к окошку кассы и протянула билет.

— Можно сдать?

— Так он ушёл уже, — удивилась кассирша.

— Я знаю.

Кассирша посмотрела на неё, потом на билет, потом снова на неё. Потом вздохнула, взяла билет, поставила какую-то печать и отсчитала триста двенадцать рублей.

— Ничего вообще-то так не делается, — сказала она. — Но вы же Тонина внучка?

— Как вы узнали?

— А нос, — сказала кассирша.

5 ноября. Правила

Когда Ульяна вернулась, было уже темно. Она поднималась по Береговой медленно, потому что чемодан снова застревал в каше, и ещё потому, что не знала, что скажет. «Я передумала» — звучало глупо. «Бабушка велела» — ещё глупее. «Мне просто некуда ехать» — правда, но этого она не собиралась говорить никому, тем более Матвею Ракитину.

В окне кухни горел свет. На крыльце сидел пёс.

Пёс был большой, лохматый, грязно-рыжего цвета, с одним стоячим ухом и одним висячим, как будто природа не смогла определиться. Он сидел на верхней ступеньке, как хозяин, и смотрел на Ульяну с вежливым интересом.

— Ты ещё кто? — спросила она.

Пёс зевнул.

— Шкипер, — сказал Матвей из темноты. Он стоял у поленницы, Ульяна его сначала не заметила. — Мой. Он обычно у меня в мастерской живёт, но там сегодня холодно.

— У вас есть мастерская?

— Есть. На Заводской.

— А почему тогда вы живёте здесь?

— Потому что ты здесь живёшь, — сказал Матвей. — Условие — под одной крышей. Не я придумал.

Он подошёл, взял у неё чемодан — молча, как будто так и было договорено, — и занёс на крыльцо. Шкипер посторо-

нился. Матвей открыл дверь и пропустил её вперёд.

В кухне было тепло. Ульяна сначала не поняла почему — печь всё ещё стояла разобранная, — а потом увидела в углу маленькую железную буржуйку, которой утром не было. От буржуйки шла труба в форточку, а на буржуйке стоял чайник.

— Это откуда?

— Из мастерской.

— Вы её сегодня притащили?

— Пока печь не готова. Ты мёрзнешь по утрам.

Ульяна сняла пальто, повесила на гвоздь рядом с его курткой и села на табуретку. Матвей налил ей чаю. Поставил банку с вареньем — вишнёвым, без косточек, такое умела варить только бабушка. Сел напротив.

Они помолчали. Шкипер вошёл следом, обнюхал розовый чемодан, остался недоволен и лёг у буржуйки, положив морду на лапы.

— Ты не спрашиваешь, почему я вернулась, — сказала Ульяна.

— Не спрашиваю.

— Почему?

— Захочешь — скажешь.

Она отпила чаю. Чай был крепкий, сладкий, с чабрецом. Варенье пахло летом.

— Я прочитала четвёртое письмо, — сказала она. — Бабушка пишет, что я не знаю правды. О том, что случилось

двадцать лет назад.

Матвей кивнул.

— Вы знаете?

— Знаю.

— И не скажете.

— Не мне говорить.

— А кому? Ей? — Ульяна махнула рукой куда-то вверх. — Она уже сказала всё, что могла. Через письма. По одному в день. Как сериал, честное слово. Ей бы сценарии писать.

Матвей неожиданно хмыкнул.

— Она писала, — сказал он. — Для районной газеты. Колонку. «Заметки бабы Тони».

— Не может быть.

— Двенадцать лет. Каждую пятницу.

Ульяна не знала. Она вообще, как выяснялось, очень мало знала о собственной бабушке. Знала, что та работала учительницей математики, что вдова, что живёт в Калиновске, что раз в год присылает открытку на день рождения, а под Новый год — посылку с вареньем и вязаными носками. Мать открывала посылку, раздражённо вздыхала и ставила банки в кладовку. Носки Ульяна носила. Тайком.

— Ладно, — сказала она. — Раз уж мы тут застряли. Давайте договоримся.

— Давай.

— Нужны правила.

Матвей поднял бровь — одну, левую. Ульяна уже поняла,

что у него это означает примерно «продолжай, я слушаю, хотя мне не очень интересно».

Она взяла с подоконника обрывок обоев, перевернула чистой стороной и достала из сумки ручку.

— Правило первое. Мы не обсуждаем то, что было двадцать лет назад.

— Почему?

— Потому что вы всё равно не скажете, а я всё равно буду злиться. Бабушка хочет рассказать сама — пусть рассказывает.

— Хорошо.

— Правило второе. Ванная… — Она осеклась. — Ладно, ванной нет. Умывальник. Утром до восьми умывальник мой.

— Я встаю в шесть.

— Тогда до шести ваш, а с шести до восьми мой.

Матвей посмотрел на неё долгим взглядом.

— Ты встаёшь в девять.

— Откуда вы знаете?

— Голландка. Ты её открываешь в девять, когда проснёшься, смотреть, есть ли угли.

Ульяна покраснела.

— Хорошо. До девяти ваш, после девяти мой. Правило третье. Вы не ходите в мою комнату без стука.

— Я хожу топить.

— Стучите и ходите.

— Ночью тоже стучать?

— Ночью… — Она задумалась. — Ночью не стучите. Ночью я сплю.

— Значит, можно без стука.

— Значит, можно, но тихо.

— Я и так тихо.

«Я знаю», — подумала Ульяна, но вслух не сказала. Она записала: «3. Стучать. Ночью — тихо». Подумала и приписала: «Спасибо за дрова».

— Правило четвёртое. Готовим по очереди.

— Я не готовлю, — сказал Матвей. — Зина кормит.

— Вы что, в тридцать шесть лет не умеете готовить?

— Умею. Не люблю.

— А Зина любит?

— Зина любит меня кормить.

— Это разные вещи.

— Вот и я говорю.

Ульяна засмеялась. Это было неожиданно — смех вырвался сам, без разрешения, и она тут же прикрыла рот рукой, но было поздно. Матвей смотрел на неё, и уголок его рта снова пополз вверх — уже чуть увереннее, чем в прошлый раз.

— Готовлю я, — сказала Ульяна, отсмеявшись. — По бабушкиной тетради. А вы моете посуду и ходите за продуктами.

— Договорились.

— Правило пятое. — Она постучала ручкой по столу. —

Мы не делаем вид, что друзья.

Матвей помолчал.

— А что мы делаем?

— Мы… сосуществуем. Как соседи по купе. Едем в одну сторону, а на станции разойдёмся.

— На какой станции?

— Тридцатого ноября.

— Понял, — сказал он. Голос у него был ровный, но Ульяна почему-то почувствовала, что пятое правило ему не понравилось. Хотя с чего бы? Он, похоже, сам был не в восторге от того, что ему приходится жить под одной крышей с капризной столичной внучкой, которая не умеет растапливать печку и ставит тесто на мёртвых дрожжах.

Она дописала пятое правило, расписалась внизу — машинально, как под отчётом, — и протянула ручку ему. Матвей взял ручку, посмотрел на список. Потом, к её удивлению, приписал снизу шестой пункт своим мелким печатным почерком.

«6. Читать письма вслух».

— Это ещё зачем? — спросила Ульяна.

— Она их мне тоже писала.

— Мне. Здесь написано — «Уле».

— Конверт — тебе. А про меня там половина.

— С чего вы взяли?

— С того, что она мне сказала. В августе. — Матвей отложил ручку. — Сказала: Матвей, я Уле пишу письма, и в них

про тебя будет. Ты, говорит, сам ей ничего не расскажешь, ты же упрямый пень. Так пусть хоть так.

Ульяна посмотрела на него. Он смотрел в стол.

— Вы не хотите, чтобы я знала, — медленно сказала она. — Ту правду, двадцатилетнюю. Вы не хотите, чтобы бабушка её рассказывала.

— Не хочу.

— Почему?

— Правило первое, — сказал Матвей.

Она открыла рот и закрыла. Он её поймал на её же условии — легко, без злорадства, как ловят мяч. Ульяна посмотрела на него с невольным уважением. Человек, который говорил по пять слов в час, умел, оказывается, считать ходы.

— Ладно, — сказала она. — Шестое правило принимается. Но я читаю, а вы слушаете. И молчите.

— Это я умею.

Пятое письмо она прочла вслух в тот же вечер, сидя на табуретке у буржуйки, пока Матвей мыл посуду, а Шкипер дремал, подрагивая во сне лапами. Читать вслух бабушкины слова было странно — будто кто-то говорил её голосом из-за её плеча. На первой фразе голос сорвался. Потом выровнялся.

Уля, Матвей.

Раз вы читаете это вдвоём — значит, у Матвея хватило ума попросить, а у тебя, Уля, хватило ума согласиться. Я на это рассчитывала, но не очень надеялась.

Завтра начинается ремонт. Не делайте такие лица. Дом надо подлатать, иначе вы его не продадите даже за полцены, а я не для того сорок лет в нём жила, чтобы его продавали за полцены.

Матвей знает, что делать с печью. Уля, ты знаешь, что делать с бумагами. Документы на дом лежат в нижнем ящике комода, в папке с надписью «Дом». Там бардак. Разберись. Там есть и то, что тебе пригодится, и то, что тебя удивит. Не всё сразу.

И ещё: у меня в горнице, за шкафом, стоят обои, рулонов восемь. Я их купила в позапрошлом году, хотела переклеить, да так и не собралась. Клейте вдвоём. Одному обои не поклеить, это я вам как бывший председатель родительского комитета говорю.

Целую вас обоих. Да, обоих. Матвей, не красней, ты взрослый мужчина.

Ульяна опустила листок и посмотрела на Матвея. Он стоял у таза, спиной к ней, и мыл одну и ту же тарелку уже, наверное, минуты три.

Уши у него были красные.

— Правило пятое, — сказала Ульяна, чтобы что-то сказать.

— Помню, — ответил он, не оборачиваясь.

Она сложила письмо, убрала в конверт. Шкипер поднял голову, посмотрел на неё, потом на Матвея, потом снова на неё, и тяжело вздохнул — с выражением пса, который видал

в своей жизни всякое и прекрасно понимает, к чему всё идёт, но людям об этом говорить бесполезно.

6 ноября. Папка «Дом»

Папка с надписью «Дом» оказалась не папкой, а картонной коробкой из-под обуви, перевязанной бельевой резинкой. Надпись была сделана фломастером на крышке, а ниже, мельче, шариковой ручкой: «Не выбрасывать. Это не мусор, это история».

Бардак внутри превзошёл ожидания. Ульяна вывалила содержимое на кровать и несколько минут просто смотрела.

Здесь лежали квитанции за свет начиная с девяносто третьего года. Технический паспорт на дом, пожелтевший, с печатью БТИ, где дом был нарисован в разрезе, а в углу кто-то — дед, наверное, — пририсовал карандашом трубу с дымом. Свидетельство о праве собственности. Выписка из ЕГРН, свежая, прошлогодняя. Договор на подключение газа, так и не подключённого. Гарантийный талон на холодильник «Саратов». Открытка с видом Ялты. Справка о том, что Морозова Антонина Павловна «действительно является ветераном труда». Почётная грамота за победу в районном конкурсе «Лучший учитель математики — 1987». Три рецепта, выписанных на обороте квитанций. И фотография, которую Ульяна, не глядя, отложила в сторону, а потом взяла снова.

На фотографии было лето. Бабушка — ещё не старая, в сарафане в горошек, с тяпкой в руке. Рядом девочка лет девяти в панамке, с ободранными коленками, — Ульяна. А чуть

поодаль, у забора, мальчишка-подросток: долговязый, стриженый почти наголо, в майке, которая была ему велика. Он не смотрел в объектив. Он смотрел на девочку в панамке и, кажется, смеялся.

Ульяна перевернула фотографию. На обороте бабушкиной рукой: «Июль 2003. Уля, Мотя, я и петрушка».

— Мотя, — сказала Ульяна вслух.

Она помнила его. Не по имени — имя потом стёрлось, заменилось на мамино «Ракитин», — а по ощущению: кто-то большой и молчаливый, кто таскал ей с чердака старые санки, чтобы кататься по траве с горки к реке, кто научил её свистеть в травинку и не выдал бабушке, когда она полезла купаться одна. Она ходила за ним хвостом. Он не прогонял.

А потом было лето две тысячи шестого. Ей двенадцать, ему шестнадцать. Деньги, которые бабушка копила на её учёбу, пропали из шкатулки. Мама кричала. Папа кричал ещё громче. Мотю она больше не видела — он уехал из Калиновска той же осенью. И Ульяна тоже больше не приезжала.

Она положила фотографию на подушку лицом вниз и взялась за бумаги.

Работа была знакомая и даже приятная. Ульяна разложила документы по стопкам: юридические, технические, коммунальные, личные. Отложила квитанции, которые можно было выбросить, — а потом вспомнила надпись на крышке и сунула их обратно в коробку. Не мусор. История.

В юридической стопке нашлось завещание — копия, за-

веренная у нотариуса. Ульяна прочла его внимательно, как читала когда-то кредитные договоры. Всё было чисто: дом и участок — в равных долях внучке Морозовой Ульяне Олеговне и Ракитину Матвею Степановичу. Никаких условий. Никаких оговорок. Никакого ноября.

Значит, условие действительно было не юридическим. Только просьбой. И Матвей мог бы его не выполнять — подписать продажу, получить свою половину денег и забыть. Но не стал.

«Обещал», — сказал он вчера.

Под завещанием лежало то, чего Ульяна не ожидала. Три письма на фирменных бланках — плотная бумага, логотип с волной и стилизованной чайкой, название: ООО «Береговая перспектива». Первое письмо, датированное мартом прошлого года, вежливо предлагало «рассмотреть возможность отчуждения объекта недвижимости по адресу ул. Береговая, 14» и называло сумму. Ульяна прикинула. Сумма была хорошая — процентов на сорок выше рыночной.

Второе письмо, от сентября, сумму увеличивало и намекало, что «в связи с реализацией инвестиционного проекта по комплексному развитию прибрежной территории» дом могут признать аварийным, и тогда его придётся продать «на менее выгодных условиях».

Третье письмо пришло в мае этого года. Оно было короче и суше. Компания «выражала сожаление в связи с отказом» и «оставляла за собой право защищать свои интересы всеми

законными способами».

Ульяна знала этот язык. Она сама писала такие письма — точнее, проверяла расчёты, на которые эти письма опирались. «Комплексное развитие территории», «инвестиционный проект», «законные способы». За этими словами стояли заборы из профнастила с наклейкой «Охраняется» — восьмой, девятый, десятый дом.

На полях третьего письма бабушкиным почерком было написано: «Не продам. Хоть режьте».

Ульяна почувствовала, как у неё что-то сжалось внутри. Она представила бабушку — восьмидесятилетнюю, с больным сердцем, — которая читает эти письма за кухонным столом, надевает очки, берёт ручку и пишет на полях «хоть режьте». А потом идёт топить печь, потому что ноябрь, и надо топить, кто бы что ни писал на фирменных бланках.

Чайка на логотипе показалась ей смутно знакомой — такие стилизованные птички в последние годы рисовали все, от банков до сетей шаурмы, — и Ульяна не стала об этом думать. Она сфотографировала все три письма на телефон. Машинально — привычка. Потом сложила их отдельно, в свою, четвёртую стопку, у которой пока не было названия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.